типичность нарушений и возвращения к «норме». Это и не являлось задачей автора, для него главным было в полной мере представить разнообразие тактик и моделей, установок и лазеек, которые использовались для выживания жителями города, а также попытаться объяснить их поведение.

Особое внимание привлекает раздел, посвящённый «дистрофикам». В нём Яров смог проанализировать не только возникновение и смысл этого понятия в период блокады, но и отношение к «дистрофикам» со стороны общества. Он показал, что дистрофия становилась не просто медицинским диагнозом, но образом, которого боялись, от которого отстранялись. Возможно, автору стоило бы по той же модели выявить отношение ленинградцев к другим болезням, изучить, как больные проходили через лечебные учреждения, как возвращались к прежней жизни. Стоит отметить и анализ в книге такого блокадного явления, как очереди, которые из хаотичного собрания горожан превращались в особое пространство, «сцепление» людей.

Думается, что анализ блокадных воспоминаний и дневников будет полезен и для начинающих исследователей, так как Сергей Викторович чётко определил особенности указанных источников, выделил их сильные и слабые стороны. В монографии также показано, как относились блокадники к своим дневникам позднее, в мирное время, и это ещё один пласт исследования.

В качестве замечания следует отметить, что в книге представлены не все модели существования в блокадном городе, ибо в нём жили и те, кто не писал дневников и писем, и их стратегию выживания в этот период мы можем реконструировать лишь фрагментарно. У меня возникло также немало вопросов, связанных с основными положениями монографии. Можно ли говорить о «блокадной этике» как уникальном явлении, или это частный случай феномена выживания человека в экстремальных условиях? Всегда сложно говорить о нравственных характеристиках, когда имеешь дело с материалом ушедшей эпохи. Насколько можно трактовать их в современных понятиях?

Возможно, для максимально полного анализа происшедшего в блокадном городе надо отстраниться от ленинградского дискурса, от героики и ужасов происшедшего, быть в большей степени независимым, не откликаясь на образы и представления, укоренившиеся в сознании тех, кто вырос в Ленинграде. Может быть, это удастся будущим поколениям историков, которые смогут использовать в своей работе уже существующие научные труды, в том числе и фундаментальное исследование С.В. Ярова.

Алексей Богомолов: Прошлое никуда не ушло

Читатель, открывающий книгу С.В. Ярова, несколько неожиданно для себя начинает знакомство с текстом научной монографии с эпиграфа из «Гамлета». По прочтении следующих страниц становится понятно, что слова Шекспира как нельзя более уместны: «Господи, мы знаем, кто мы такие, но не знаем, чем можем стать». Впрочем, не худшим эпиграфом могли бы стать и более простые и не столь давние слова одной из блокадниц, записанные уже в начале 2000-х гг.: «Вы неудачно попали, если хотите услышать что-нибудь положительное»⁵⁵.

События ленинградской блокады зафиксированы с точностью до дня, описаны во множестве научных и популярных книг, а наиболее «знаковые» факты

⁵⁵ См.: Интервью с С.П. Сухоруковой // Нестор. 2003. № 6. С. 177.

(как, например, дата начала блокады, день прорыва и день снятия блокады, «Невский пяточок» и «сто двадцать пять блокадных грамм») назовёт любой сколько-нибудь грамотный школьник, не говоря уж о людях старшего поколения. Словом, ленинградская блокада (и самый тяжёлый её период, 1941–1942 гг.) – неотъемлемая часть исторической памяти жителей нашей страны. Святыни не принято обсуждать. Между тем известно не всё. Выжившие рассказывали после войны далеко не обо всём, не обо всём писали тогдашние газеты, как не обо всём способны рассказать и документы государственных организаций, оказавшиеся установленным порядком в архивах.

Почему о каких-то вещах блокадники рассказывали и писали охотно, а о других предпочитали умалчивать, либо вычёркивали упоминания о них даже из собственных дневников (а иногда и из собственной памяти)? «Литературность» такого рода источников – не единственная причина. «Каноном» служили стиль и сценарии изложения. Формулировки и лексика авторов многочисленных исследований и публикаций, как и послевоенные тексты самих блокадников, подчиняли замысел текстов устоявшейся схеме «испытания – героизм – победа как награда за подвиг». Здесь имеет смысл говорить уже не о некоем внешнем по отношению к тому или иному автору идеологическом контроле, а о самовоспроизводящемся каноне восприятия и повествования. Во многом определяла формы и сюжеты повествования (а непосредственно перед этим формы поведения и восприятия) этика, которая и находится в центре внимания Ярова.

Очевидная трудность использования личных источников заключается в их репрезентативности. Как на основании индивидуальных свидетельств реконструировать норму? Скрупулёзно прочитавший несколько тысяч дневников автор трезво указывает: «Многие блокадники смогли наблюдать лишь малую частицу того, что происходило в городе в это драматическое время. Их передвижения ввиду истощённости и отсутствия транспорта были ограничены, тысячи ленинградцев стали “лежачими”. По поступкам нескольких человек они могли составить мнение о поведении всех и отстаивали свои оценки бескомпромиссно и с убеждённостию, хотя многие из них были основаны на свидетельствах других людей» (с. 9). Обыденность, повседневность приходится реконструировать на основании дневников, в которых больше шансов на отражение имели экстраординарные, яркие события.

С другой стороны, для реконструкции моральных норм и их мутаций дневники подходят как нельзя лучше. Здесь Яров следует по стопам Э. Дюркгейма, резонно считавшего, что социальную норму, как и степень её общественной значимости, реально выявить и реконструировать по фактам её нарушения, и предложившего анализировать для этого формальные и неформальные социальные санкции и меры социального контроля, предпринимаемые обществом по отношению к её нарушителям. Индивидуальные, полные эмоций описания очевидцами неформальных «общественных санкций», ожидавших нарушителей, отношение к самим нарушителям и рассказы об этих событиях – плодотворный материал для анализа, который интересен не только историкам блокады, но и антропологам и социологам. Тем самым «слабые», с точки зрения традиционной историографии, стороны эго-документов как источников (их субъективность, индивидуальность) оказываются преимуществом. В рамках «понимающего» подхода социальным фактом вполне можно считать не только некое объективно имевшее место явление, но и установленное отношение к этому явлению, которое тоже является частью социальной реальности. Повседневная

реальность блокады складывалась из огромного количества ежедневных межличностных контактов, поступков и реакций на них. Характерна в этом смысле упоминаемая в книге реплика одного из блокадников о том, что немцы, окружившие город, его жителями воспринимались как некое стихийное бедствие, с которым нельзя ничего поделать и остаётся принять его как данность (с. 19); эмоции же изливались преимущественно на «своих» – городские власти, непосредственное руководство, соседей, сослуживцев, родных.

По меняющемуся содержанию и тону дневниковых записей автор прослеживает динамику изменения социальных отношений и моральных норм жителей блокированного города, неделю за неделей, месяц за месяцем. Медицинские, психологические и социальные последствия массового голода выявляются на примере конкретных случаев, и лишь после их описания Яров позволяет себе более общие выводы о симптомах и этапах «угасания человека» – апатии, вялости, привыкании к смерти, отсутствию эмоций, исчезновении чувства самосохранения и опасности, утрате интереса к другим людям, к внешним событиям, наконец, исчезновении интереса и к еде (с. 18). Апатия вела к ослаблению социальных связей, в перспективе – к «выпадению» человека из общества. Вдали от глаз других людей чаще становились возможными нарушения моральных норм.

Нехватка сил и возможности передвигаться по городу затрудняли поддержание родственных связей, зато в ряде случаев серьёзно упрочивались «первичные группы» из соседей и ближайших родственников, зачастую съезжавшихся из разных районов города, разных квартир или комнат вместе в небольшие «коммуны», объединяя усилия по выживанию, обмениваясь между собой взаимными услугами и пищей, оказывая взаимопомощь. Наименее защищёнными в подобных условиях закономерно становились люди одинокие, потерявшие работу (а с нею и рабочие продовольственные карточки), иждивенцы (дети, подростки, старики), оказавшиеся без попечения дееспособных взрослых. Общество упрощалось и приобретало архаические черты.

Яров замечает, что отступление от довоенных этических норм было быстрым и лавинообразным: нарушение одной нормы облегчало отступление и от другой (с. 434). Ритуалы социальных отношений являлись своего рода якорями этических норм, и невозможность их соблюдать тем самым «обрывала» и самые нормы. Следует отметить, впрочем, как блокадники до последнего старались эти ритуалы сохранить. Наглядную эволюцию, к примеру, претерпел обряд похорон: когда стало невозможным хоронить умерших в гробах и вывозить на кладбища за отсутствием досок и транспорта, тела вывозили на санках, завёрнутыми в покрывала; когда стало невозможным и это, «пеленание» символически воплощалось с помощью стружек, подложенных под одежду.

Насилие и даже жестокость, с помощью которых блокадники старались обеспечить поддержание этических норм, становились условием выживания. Но это оружие, как отмечает автор, было обоюдоострым и размывало некоторые нормы этики не меньше, чем поддерживало другие. Относительно поздно, по блокадным меркам, к массовой помощи ослабевшим людям подключилось государство: «Защита государством и общественными организациями ослабевших блокадников являлась средством не только спасения людей, но и поддержания у них навыков морали. Речь шла не только о гуманности. Утрата представлений о цивилизации вела к хаосу и делала немислимым установление элементарного правопорядка. При этом старались не просто заставить

очерстевших в блокадном аду горожан выполнять свой долг, но и создавать условия для этого – иначе бы никакой человеческий порыв не увенчался успехом» (с. 539).

«Низовые» общественные организации (профсоюзные и первичные партийные, комсомольские ячейки, дружины Красного Креста, комсомольские бытовые отряды) заметили беду и начали реагировать на неё раньше. Значение помощи с их стороны не ограничивалось поддержанием физиологического существования: «Посещение блокадников, остро нуждающихся в помощи, во многом спланивало людей, не позволяло им опускаться, пробуждало в них лучшие чувства, “расковывало” их» (с. 545). Так в приливающем море социальной аномии оставались острова и архипелаги цивилизации и хрупкие мостики между ними. Так возникал своеобразный «перекрёстный контроль, имевший неизгладимый нравственный след. Контроль не утративших чувства сострадания идеалистов над прагматиками-бюрократами, контроль тех, кто ещё не оправился от потрясения при взгляде на брошенных детей над теми, кто очерствел, видя их каждый день, и наконец, контроль государства над всеми, кто уклонялся от выполнения своего долга» (с. 433).

Воля и выполнение собственного долга становились в глазах блокадников важнейшим фактором выживания. «Все виды дисциплин – производственной, партийной, бытовой, этической – были связаны между собой. В каждой из них проявлялось в той или иной мере влияние обычных нравственных заповедей. Отказ от дисциплины вёл к потере традиционных социальных ориентиров, а это приводило, как правило, к одному – распаду человека. Партийная и комсомольская дисциплина диктовала не только необходимость выполнения требований устава. Она принуждала и к соблюдению нравственных правил: не опускаться, помогать другим, следить за собой» (с. 549). При этом те, кто потерял волю к жизни, люди, находившиеся на стадии распада личности, становились наглядным антипримером, что вызывало ещё одну нравственную коллизию: «Люди боялись оказаться на месте “дистрофика”, инстинктивно чувствуя, что им может стать любой, перенёсший голод. И потому они придирчиво наблюдали за собой, опасаясь и у себя обнаружить те же признаки распада. “Дистрофик” стал зримым воплощением того состояния духа, с которым надо было беспощадно бороться, “выдавливаться” из себя, но как можно было тогда сохранить уважение к больным и немощным?» (с. 452).

Проявили себя и архаичные черты «моральной экономики», базировавшейся не только и не столько на рациональных представлениях о цене и стоимости, сколько на представлениях о справедливости. Грань между воровством для выживания и воровством для наживы – отчётливо звучащий мотив во всех отмеченных автором самооправданиях. «Воровство состоит не в том, что получают обходным путём лишний кусок хлеба... Воры – это те, кто греет руки на народной беде, кто покупает пианино за буханку хлеба, кто берёт взятки за помощь при эвакуации, кто скопил в “смертное время” килограммы масла, крупы, сахара... И не надо придирчиво выяснять, законным или преступным путём человек получил продукты. Главное – кому их удалось добыть и с какой целью», – настаивали блокадники в своих записях и разговорах (с. 163).

Деликатным и весьма болезненным для блокадников – как и для самого исследователя – оказался вопрос о стоимости человеческой жизни (которая, как внезапно для многих выяснилось в 1941 г., имеет вполне конкретное измерение и даже поддается градации на группы и категории, обладающие большей или

меньшей ценностью). Автор приводит множество частных свидетельств людей, потрясённых самим наличием такой шкалы оценок и внезапным переводом общечеловеческих ценностей и советского лозунга о равенстве в количественно измеряемые эквиваленты. Это не только вопрос о приоритете в очереди на эвакуацию, но и признание «более ценным работником», распределение по категориям продовольственных пайков, и решения врачей и администраторов кому имеет смысл оказывать помощь, а кому уже нет. Можно согласиться с автором, что как условия блокадного выживания, так и «шкала оценки», не скрывавшаяся власть предрержащими, сами по себе были шоком для среднего обывателя (который, собственно говоря, никогда не был героем и не готовился им быть). Для профессионалов, однако, такого рода оценочный подход, непривычный для обывательской этики, был и остаётся до сих пор нормой, позволяющей сберечь максимально возможное число человеческих жизней в условиях дефицита ресурсов и времени. Почти за век до Ленинграда знаменитый хирург Н.И. Пирогов в «Основных началах военно-полевой хирургии», написанных по опыту его собственной работы в осаждённом Севастополе, предлагал и обосновывал метод первичной медицинской сортировки, рационального отбора и определения очередности оказания помощи. Всё тот же Пирогов, в числе прочего, отмечал как явный недостаток ситуации, в которых «безнадёжным раненым, которым гораздо нужнее духовная, чем врачебная помощь, расточаются нередко медицинские пособия без всякой для них пользы, отнимая у врачей время и силы, которые могли бы быть употреблены с большей пользой для других, ещё подающих надежду к выздоровлению». Со ссылкой на слова Пирогова о «необходимости выбирать из двух зол меньшее» методы медицинской сортировки преподают врачам и сейчас – в курсах военно-полевой хирургии и медицины катастроф⁵⁶.

В этом контексте можно заметить, что в очень многих случаях автор воздерживается от комментариев, попросту воспроизводя цитаты и предоставляя тем самым слово самим участникам блокады. В то же время очевидно, что мир субъективности, воссоздаваемый по субъективным источникам, в ряде случаев в комментариях явно нуждается – перед нами всё же не просто хрестоматия или сборник документов.

Яров не обошёл и такой сюжет неофициальной «ленинградской мифологии», как тема питания в Смольном. Надо сказать, что к освещению этого вопроса автор также постарался отнестись максимально взвешенно, честно извещая читателя, что рассказы свидетелей на эту тему скупы, а слухи перемешались с реальными событиями. Доступные источники в этом случае небогаты, и Яров оперирует тем, что удаётся из них извлечь, тщательно анализируя все упоминания, цитаты, выявляя недомолвки и умолчания. Иерархичность советского бюрократического аппарата, внутри которого разделение по категориям и, соответственно, нормам продовольственных пайков, также имело место, по этим материалам проявляется вполне наглядно. В зависимости от уровня органов власти определялся и перечень выдаваемых служащим продуктов. Стенограммы воспоминаний районных комсомольских работников, одного из низших звеньев в структуре власти, с детальными высказываниями о том, что приходилось употреблять в пищу, чтобы выжить, в этом смысле разительно отличаются от рассказов руководителей райкомов партии и райисполкомов, при освещении

⁵⁶ См., например: Полный справочник травматолога. М., 2006. С. 33.

этой темы становящихся очень сумбурными и хаотичными (с. 413). Там, где исследователь не располагает доказательными материалами, он умолкает, хотя и это молчание «говорящее». «Точные данные о расходе продуктов в столовой Смольного недоступны до сих пор, и это говорит о многом», – кратко заключает автор (с. 412).

Впрочем, переходя уже к другому сюжету, следует отметить, что приводимые Яровым дневниковые реплики и записи слухов о том, как пируют в Кремле (с. 97) и обедают в Смольном (с. 412), скорее всего, из той же категории, что и безотчётная уверенность голодного человека, в том, что супруг/сосед/родственник питается лучше, а в закрываемом соседкой на ключ шкафчике не может находиться ничего, кроме еды – иначе зачем этот шкафчик закрывать. Не надо забывать, что это в первую очередь мысли страдающих, голодных, больных и раздражённых людей. Такого рода слухи и рассуждения были естественной частью внутреннего мира блокадников, выплёскивавшейся в спонтанных бытовых конфликтах, которые вспыхивали в банях, столовых и в очередях. Если основывать свои суждения только на них, придётся забыть и о том, что такие же умирившие от голода люди в перерывах между получением скудного пайка и похоронами близких людей перекладывали архивные папки, работали у станков, сохраняли коллекции вавилонского Института растениеводства, обходили квартиры с обессилевшими родственниками, друзьями и сослуживцами, т.е. о том, что помимо субъективных мыслей были и вполне объективные действия.

Ряд авторских наблюдений, в частности, о некоторых свойствах отечественной административной элиты, кажется вневременным. «Примечательно, что эффективнее в Ленинграде начали оказывать помощь ослабевшим блокадникам после того, как появились слухи о приезде комиссии из Москвы, о скором снятии с должности П.С. Попкова, обвинённого чуть ли не во “вредительстве”». Фрагмент о привилегиях блокадной власти (с. 407–418), несмотря на краткость, наводит на мысли довольно злободневные, хотя размышлять об этике «ответственных работников» едва ли имеет смысл в рамках научного исследования за явным отсутствием предмета изучения. Эпопея с «письмами во власть» академика И.Ю. Крачковского – долговременной и многоходовой бюрократической операцией (с. 415–417) наглядно это демонстрирует. В этом примере, как и в ряде других свидетельств, речь идёт уже не столько о прагматическом «государственном подходе», в целом нормальном для винтиков бюрократической машины, сколько о том, что по отношению к самим себе вполне конкретные партийно-государственные чиновники применяли несколько иные подходы. «Мысль о том, что нельзя роскошествовать (пусть и по блокадным меркам) на виду у людей, не имевших крошки хлеба, как-то не прижилась у части “ответственных работников”, а моральные запреты нарушались, как и в прошлом, нередко очень легко», – деликатно заключает автор (с. 418).

Реконструировать «блокадный быт» и следы неотъемлемо связанной с ним «блокадной этики» при желании не так уж и трудно, и для этого не обязательно организовывать на одной из центральных улиц города специальную инсталляцию. Бомбардировки и артиллерийские обстрелы больше не беспокоят население Ленинграда (Петербурга), но на его улицах в холодные зимы по-прежнему падают и умирают люди (в начале XXI в. их принято политкорректно называть «лицами без определённого места жительства»), а в зимы снежные от падающих на головы сосуллек на не очищенных от снега и льда

улицах время от времени погибают прохожие. «Дистрофики», в силу ряда причин (впрочем, уже не от голода) потерявшие социальные связи и человеческий облик, по-прежнему встречаются на улицах, и редкий из уважающих себя жителей и гостей города сочтёт для себя достойным отнестись уважительно и к ним. Подойти к упавшему на улице или в метро человеку, чтобы оказать ему помощь, – по-прежнему вопрос индивидуального морального выбора. Голодающих мальчишек-«ремесленников» в городе заменили их современные сверстники – беспризорники и обитатели детдомов-интернатов, выбирающиеся в город, чтобы подзаработать и подкормиться. Финансирование военных и администрации по-прежнему гораздо важнее, чем обеспечение больниц, школ и академических учреждений. Высокопоставленные чины по-прежнему принимают близко к сердцу (ближе, чем исполнение собственных обязанностей) имидж державы, каким он предстает в фильмах и средствах массовой информации, и по-прежнему со спокойной улыбкой рассказывают чистую правду на пресс-конференциях. Так что прошлое, в определённом смысле, никуда не ушло. Оно всё ещё среди нас.

Магистралы, связывающие город со страной, сегодня никем не перерезаны, и продовольствия в Петербурге хватает (хотя пожилые блокадники до сих пор делают дома продовольственные запасы и приучают детей за столом доедать всё до последней крошки). Но не менее жаркие споры и интриги, чем бушевавшие когда-то вокруг очереди на эвакуацию или выделение усиленного пайка, кипят сегодня, например, вокруг государственных льгот (кому они положены, а кому – нет, и как добиться их получения), вокруг очереди пациентов на доступ к дефицитной медицинской аппаратуре. Ресурсы, как и круг «своих» людей, всегда ограничены. Так что некоторые вопросы, пожалуй, действительно остаются актуальными всегда. В каких случаях прислушиваться к инструкции, а в каких – к собственной совести? Помогать ли ближнему своему? Кого считать ближним? Что делать нельзя никогда, а что – должно, невзирая ни на что? Ленинградская блокада не сформулировала эти вопросы впервые, она всего лишь обострила их до крайности. Историки же записали и попытались обдумать полученные в «смертное время» ответы.

Материал подготовлен И.А. Христофоровым